



Гоголь и Оптиная Пустынь

К истории
второго тома
«Мертвых душ»



Десятилетиями школьные и вузовские учебники литературы приучали нас к представлению о Гоголе как о писателе-обличителе социальных язв крепостнической николаевской действительности. Хотя для этого определения можно подыскать некие основания, все же, думаю, самого Гоголя оно бы не устраивало. Ведь в писательских его мыслях, как признается он в «Авторской исповеди», ему «чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот блаженный образ, каким должен быть на земле человек...».

Но опыт убедил Гоголя в том, что люди неохотно внимают проповедям и призывам к благородству. Слишком закованы они житейской суетой, путы мелких забот связали и обескуражили их души, приковали все внимание к пошлой стороне жизни.

Прежде чем создавать идеальный образ прекрасного человека, Гоголь написал сначала комедию «Ревизор», а затем первый том «Мертвых душ» — произведения, которые действительно попросили Россию, но, увы, совсем иначе, чем предвидел их создатель.

Писатель надеялся, что зритель, наблюдающий за приключениями Хлестакова и нравами города, в котором тот очутился волею судеб, не просто посмеется, но и задумается, хотя бы и потом, над простой и очевидной мыслью: сколько ни ловчи и ни хлопоты, а настанет миг, когда явится Неумолимый и Промыслитель — Смерть, которая выше всеобщих вельмож и царей и приход которой вызывает немую сцену, когда уже невозможно что-либо изменить.

ПО ЗАМЫСЛУ ПИСАТЕЛЯ поэма «Мертвые души» должна была состоять из трех томов. Первый том — это действительное царство мертвых душ — чичиковых и собакевичей — с их пошлостью и бездуховной жизнью. Во втором томе под влиянием встречи с положительным героем должен был возродиться к новой жизни Чичиков. В третьем томе предполагалось показать возродившихся, обретших человеческое благородство героев первого тома, не исключая и Плюшкина — эту «прореху на человечестве».

Глубоко огорченный тем, что читающая публика не понимает сокровенного смысла его художественных творений, Гоголь решает выступить перед ней с открытым публицистическим произведением. Этому его решению способствовала усиливавшаяся тревога по поводу резкого обострения социальных противоречий в стране, грозивших разрешиться взрывом, по его мнению, гибельным для ее судеб, но очень нужным внешним врагам Отечества. Очень уж им «хотелось заварить в России какую-нибудь кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самим сыграть какую-нибудь роль».

Так появились на свет печально знаменитые «Выбранные места из переписки с друзьями».

Кажется, еще не выходило до того в России другой книги, которая произвела бы такой шум и вызвала такую бурю возмущения, как «Пе-

реписка». Когда я учился в уездной школе, а было это чуть ли не полвека назад, нам объясняли, что Гоголь был умным человеком и великим писателем, когда создавал «Ревизора» и «Мертвые души», но потом сошел с ума и написал «Выбранные места». Знаю, что и по сей день такой взгляд бытует и еще прививается кое-где не только школьникам, но и будущим учителям. Хотя эта ложная точка зрения не раз была опровергнута, считаю необходимым подчеркнуть: наветы на Гоголя совершенно неосновательны, а «Переписка» — великое произведение отечественной литературы, раскрывшее талант писателя с новой, до того неведомой миру стороны.

Разбор этого произведения не входит в мою задачу, но отмечу, что в нем содержатся мудрые советы, как будто специально адресованные нашим дням. Приведу только одну выдержку: «Однообразие люди и при том фанатики — язва для общества; беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть...».

Итак, повторяю, «Переписка» вызвала возмущение большей части тогдашней образованной России. Самым кощунственным его выражением стало знаменитое «Письмо к Гоголю» Великого, известное всем нам со школьных лет.

Гораздо меньше известно ответное письмо Гоголя. И об этом нельзя не пожелать, потому что два эти письма — лучшие полемические произведения в истории русской литературы. С незапамятных времен велит между собой спор два направления. Одно утверждает: «Жизнь общества ненормальна, и потому большинство его членов порочны; измените к лучшему общественный строй — и люди станут совершенными». Второе направление резонно возражает: «Но если люди скверны, как же смогут они установить новый, более совершенный строй?».

Сопоставление двух писем произведено И. Золотушкиным в его книге «Гоголь» (М., 1979). И я не буду его воспроизводить. Скажу только, что Белинский утверждал, будто русский народ настроен эстетически, да и вообще — Христос первым провозгласил учение о свободе, равенстве и братстве, а церковь искажала это учение. «Что тут говорить», — отвечал ему Гоголь, — когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами немощных...».

Белинский утверждал, что выступает от имени народа. Гоголь в этом усомнился. Но не сомневался в том, что у него у самого на то больше прав. К тому же, полагал Гоголь, его оппонент недостаточно образован, не знает «истории человечества в источниках», воспитан не на трудах глубочайших знатоков человеческой души, а на поверхностных переводных брошюрах социалистов-утопистов. Он советует Белинскому оставить занятия журналистикой, иссушающей ум и сердце, посвятить оставшу-

юся жизнь служению прекрасному, заняться самообразованием, а тогда они смогут обмениваться мнениями уже на равных.

Когда письмо было уже набросано, Гоголь подумал, как убийственно оно должно будет подействовать на больного, по сути уже умирающего Белинского. Поэтому он свое письмо порвал (но не выбросил!), а Белинскому послал коротенькую примирительную записку.

Полемика полемикой, а надо дело делать. У Гоголя же второй том не подвизался. Он писал и жег, снова писал, и снова сжигал. Не выходило больше убеждать, из-за того, что неясен был образ положительного героя.

Может показаться странным, что Гоголь не мог создать такой образ, используя впечатления от замечательнейших людей своего времени, с которыми он был дружен или близко знаком. Среди них были солнечный Пушкин и ангельски добрый Жуковский, глубокий мыслитель Чаадаев и кроткий Плетнев, эрудит Шевырев и остроумец Вяземский. Гоголю нужен был герой, сочетающий мудрость и человеколюбие, воплощающий гармонию ума и сердца... Вот почему он столь внимательно отнесся к пожеланию одного из близких московских знакомых: «Сяди бы вы, Николай Васильевич, в Оптиную Пустынь!».

ЕЩЕ СПРОСИТЬ современного экскурсовода, чем же знаменита Оптиная Пустынь, он ответит: — Тем, что в ней в самые трудные моменты жизни и творчества бывали Гоголь, Достоевский, Лев Толстой... И победоносно взглянет на вас, считая, что сполна ответил на вопрос, тогда как в действительности еще и не подошел к ответу.

В самом деле, в России до семнадцатого года было более тысячи монастырей, а эти гении русской культуры ехали именно в Оптину. Почему?

Первоначальная цель монашества заключалась в воспитании совершенного человека (в средневековом понимании этого термина). Те, кто стремился к духовно-нравственному самосовершенствованию, оказавшись чужеродным элементом в свете «мира сего», и у них возникало желание уйти от него. Так появились первые монастыри — обители отшельников от мира.

Наука о самосовершенствовании человека, которую наши предки почитали как науку наук и искусства искусства, то есть как высшее из всех знаний, доступных людям, исходила из того положения, что человек был создан совершенным, по образу и подобию божью. Но вследствие грехопадения Адама и Евы свое богоподобие утратил, став жертвой различных пороков и слабостей. А все человеческие пороки и слабости были расположены в определенной последовательности, образовав как бы ступени некоей «лестницы», ведущей к совершенству. Недаром монах Иоанн, написавший книгу «Лестви-

ца», вошел в историю под именем Иоанна Лествичника. В книгах типа «Лествицы» можно встретить такие глубины постижения человеческой души, каких не достигали и величайшие писатели мира.

Но иметь хорошие книги, учебники по самосовершенствованию, мало. Ведь люди очень разные, различные их физические и духовные силы, способности к восприятию учения... Вот почему в дополнение к книгам-учебникам практика монашества вырабатала еще систему духовного руководства начинающими со стороны опытных воспитателей — старцев.

В начале царствования Александра I проповедь православия в России была, можно сказать, запрещена, поскольку воспитанный в либеральном духе царь считал все религии равноправными. Вот в это-то время и произошло возрождение старчества. Связано оно было с именем русского монаха Паисия Великовского.

Паисий побывал во многих российских монастырях, но не нашел там того, что искал (поначалу, пожалуй, он и сам не смог бы ясно выразить, чего ищет). Наконец, он попал в русский монастырь на Афонской горе, где несколько лет провел в строгом подвижничестве. Там он узнал, что в одном из греческих афонских монастырей хранятся древние рукописные книги, по преданию, о путях самосовершенствования.

И вот из обители Паисия потянулись монахи в Россию, держа в котомках драгоценные рукописи с переводами трудов византийских мыслителей. Кроме книжной мудрости, ученики Паисия воспринимали живое слово своего учителя, дух жизни обители, прекрасно воссозданный в романе Иоанн Друзь «Белая церковь».

Постепенно у учеников старца Паисия появились свои ученики, а у тех — свои. Строго в соответствии с духом трудов, переведенных Паисием, жили отшельниками в расщелинах скал братья Путиловы. За ними — и решил послать епископ Калужский и Боровский Филарет, чтобы просить их возродить к новой жизни пришедший в упадок древний монастырь Оптиной Пустыни.

Впервые Гоголь посетил Оптину летом 1850 года, когда ехал на Украину. Писателя встретили с почетом, поселили не в монастырской гостинице, как иных гостей, а в скиту, в большом доме, сохранившемся до сих пор и именуемом «домом Гоголя».

Мне довелось дважды останавливаться в этом огромном, по нашим меркам, двухэтажном особняке. С наступлением темноты в бывшем скиту устанавливается такая тишина, какую москвичу трудно и вообразить. Лишь изредка ухнет в ночи филин да прошепелет по железной крыше горсть желудей, сорванных ветром. 140 лет назад ночью в скиту было, думаю, еще тише.

Гоголь, по-видимому, еще не вполне оправился от того

потрясения, какое испытал, получая одно за другим ругательные письма. Обескураживало прежде всего то, что его просто ругали, но никто не пытался разобрать книгу объективно, отметить сильные и слабые стороны «Переписки». Ну, а уж в Оптиной-то, думал он, вряд ли кто о ней и слышал.

Тем удивительнее оказалась его первая встреча со старцем Макарием.

А Николай Васильевич — проговорился Макарий, когда Гоголь подошел к нему за благословением. — Как же, как же. Наслышаны. Читали вашу книжечку. Да вот, у меня на нее и маленькая рецензия написана.

Оценка «Переписки» была достаточно строгой, но тон рецензии — сочувственный. Макарий соглашался с одними положениями и не соглашался с другими, проявляя интерес к внутреннему миру автора.

Но дальше Гоголя ждал еще больший сюрприз.

Много лет назад я, читая пьесу К. Паустовского «Наш современник (Пушкин)», обнаружил там сцену: поэт, заблудившись в лесу, нечаянно вышел в расположение артиллерийской части, а офицер, командовавший батареей, приказал дать в честь него салют. Помню, тогда мне эта сцена показалась большой натажкой. Но оказывается, случай такой действительно был: офицер, устроивший салют в честь Пушкина, впоследствии стал монахом и жил в Оптином скиту. Он, сохранивший пламенную любовь к русской литературе, с восторгом принял Гоголя, часто с ним беседовал и горячо уговаривал его продолжить служение родине художественным словом.

Гоголь, наблюдая за жизнью оптинцев и неустанным трудом старца, отдающего всего себя ближним, все более и более приходил к убеждению: вот он, тот положительный герой, которого ему так не хватало для успешного завершения второго тома поэмы.

То, что Гоголь увидел в Оптиной, он воспринял как новый мир, о существовании которого мир прежде лишь догадывался, мир святости, чистоты и самоотверженной любви ко всем людям. И прежде он именно так представлял себе идеал, но теперь он открылся ему как реально существующий.

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ в Москву Гоголь быстро осуществил замысел второго тома. Как и первый, он состоял из одиннадцати глав, и героем его, оказавшим благотворное влияние на Чичикова, стал священнослужитель. Но у этой редакции второго тома

оказалась трудная судьба.

По своему складу Гоголь принадлежал к редкой породе людей, больше любящих критику, чем похвалу. Еще тогда, когда только вышла в свет его «Переписка», он получил сердитое письмо от ревнивого священника Матвея Константиновского, не согласившегося с его суждениями о роли театра в духовной жизни народа. Завязавшая переписка привела к их личному знакомству.

Отец Матвей произвел на Гоголя сильнейшее впечатление несокрушимой верой и изумительным красноречием.

Гоголь, не в меньшей степени, чем Пушкин последних дней жизни, ощущал свое писательство как пророческое служение России и человечеству. Но, пожалуй, в еще большей мере рассматривал его как воплощение откровения свыше. Пророческому характеру второго и третьего томов должен был отвечать и пророческий язык, в овладении которым, думал Гоголь, ему и поможет общение с отцом Матвеем.

Между прочим, среди принципов отношений между старцем и учеником были два существенных для дальнейшего изложения. Во-первых, отец Матвей не навязывался ученику в наставники, тот сам его выбрал. Поэтому совет старца ученику равнозначен приказанию. Во-вторых, если совет старца ученику не по душе, нельзя обращаться к другому старцу в надежде на рекомендацию более приемлемую.

Законович второй том «Мертвых душ», Гоголь принес рукопись отцу Матвею с просьбой прочитать и дать совет. Матвей Константиновский остался рукописью недоволен. Он, видимо, подумал, что герой писан с него, но неудачно. Отцу Матвею даже показалось, что образ монаха, живущего в туце страстей, мира сего, получился «с какими-то католическими оттенками», так что выходил «не вполне православный священник». Отсюда недалеко было до мысли, что этот образ навеян Гоголю воспоминаниями о католических патерах, а писателя и без того упрекали в том, что он за годы заграничной жизни подпал под влияние католицизма.

Все это отец Матвей прямо высказал Гоголю, посоветовал сжечь рукопись, во всяком случае те главы, где действовал непривычный для тогдашнего русского читателя священный служитель.

Гоголь главы этой редакции второго тома сжег. Но сердце говорило ему, что он создал произведение, достойное его гения, что, будь на месте отца Матвея оптинского старец Макарий, второй том получил бы одобрение и благословение.

Вдумавшись в трагедию, которая разыгралась в душе Гоголя. Он сам избрал для себя старцем отца Матвея, а тот едва терпит его литературные труды. Знает он также, что оптинские монахи Макарий и Порфирий глубоко интересовались его творчеством, как делом благородным и богоугодным. И вот, увидев, что отец Матвей не тот, кто мог бы быть его помогающим наставником,

зная, что всего в двухстах с пятьюдесятью с небольшим верстах от Москвы есть подлинный старец — Макарий, и сознавая, что ментальное духовное руководство он не имеет права, Гоголь не в состоянии разрешить трагического противоречия.

ПОТРЕБНОСТЬ вновь побывать в Оптиной и посоветоваться со старцем Макарием (в такой форме, чтобы не нарушить обязательства перед отцом Матвеем) все более становилась для Гоголя насущной творческой необходимостью.

Как поступить? И тут писатель получает от сестры письмо, в котором она извещает, что скоро выйдет замуж и приглашает его на свадьбу.

И вот, отправившись в сентябре 1851 года будто бы на свадьбу сестры, Гоголь, не испробовав благословения отца Матвея, поехал не прямой дорогой, а в Оптину. Во время этой, второй, встречи Гоголь с отцом Макарием произошел эпизод, немало потешивший еще современников писателя, а в наши дни смешно изложенный в очерке Владимира Солоухина «Время собирать камни» («Москва», № 2, 1980).

Гоголь несколько раз спрашивает совета у старца Макария по, казалось бы, пустяковым вопросам: продолжит ли ему путь на свадьбу сестры или вернуться в Москву?

Потешаясь над Гоголем, В. Солоухин восклицает: «Нашел о чем спрашивать! Ну, был бы вопрос о том — жить или не жить на свете дальше? Жечь или не жечь «Мертвые души?»».

Но эти насмешки лишь свидетельствуют о том, насколько мало мы, люди конца XX века, понимаем проблемы духовной жизни и как плохо знаем то, что волновало тогда Гоголя, но о чем он не мог сказать прямо.

Писатель, видимо, действительно приехал к Макарию, чтобы по ответам старца на не прямо высказанные суждения решить для себя те самые роковые вопросы...

Не мог же Гоголь сказать Макарию: «Отец Матвей посоветовал мне жечь второй том, а я хочу знать ваше мнение на сей предмет». Просто по тону беседы он, видимо, понял, что Макарий по-прежнему сочувственно относится к его творчеству. У него уже давно созрел замысел новой редакции второго тома. Поэтому его на первый взгляд странный вопрос на деле был вполне оправданным. Если старец одобряет его творчество, надо поско-

рее возвращаться в Москву и осуществлять новый замысел, а не тащиться на Украину, не сидеть за праздничным столом, не кричать «горько!».

Конечно, есть обязанности по отношению к сестрам и матери. И с этой стороны колебания Гоголя понятны. За смешным для постороннего глаза эпизодом скрывалась глубокая душевная драма Гоголя, а второй приезд в Оптину призван был разрешить самые жгучие его сомнения относительно своего творчества.

Так или иначе, но в целом беседы и обмен письмами с отцом Макарием были для Гоголя приятными. И на этот раз он вернулся в Москву успокоенным и умиротворенным, каким его и увидели по возвращении близкие люди.

Новая поездка в Оптину ускорила работу Гоголя над поэмой. Буквально за три месяца он не только переделал главы, не понравившиеся отцу Матвею, но и переписал полностью законченный второй том (и это параллельно с созданием другого крупного произведения — «Размышления о божественной литургии»).

Современники, вопреки позднейшим суждениям, свидетельствовали о полноте творческих сил Гоголя незадолго до его смерти, а А. Смирнов-Россет, слышавшая в авторском чтении весь второй том, писала, что первый том полек перед ним, ибо здесь «юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух».

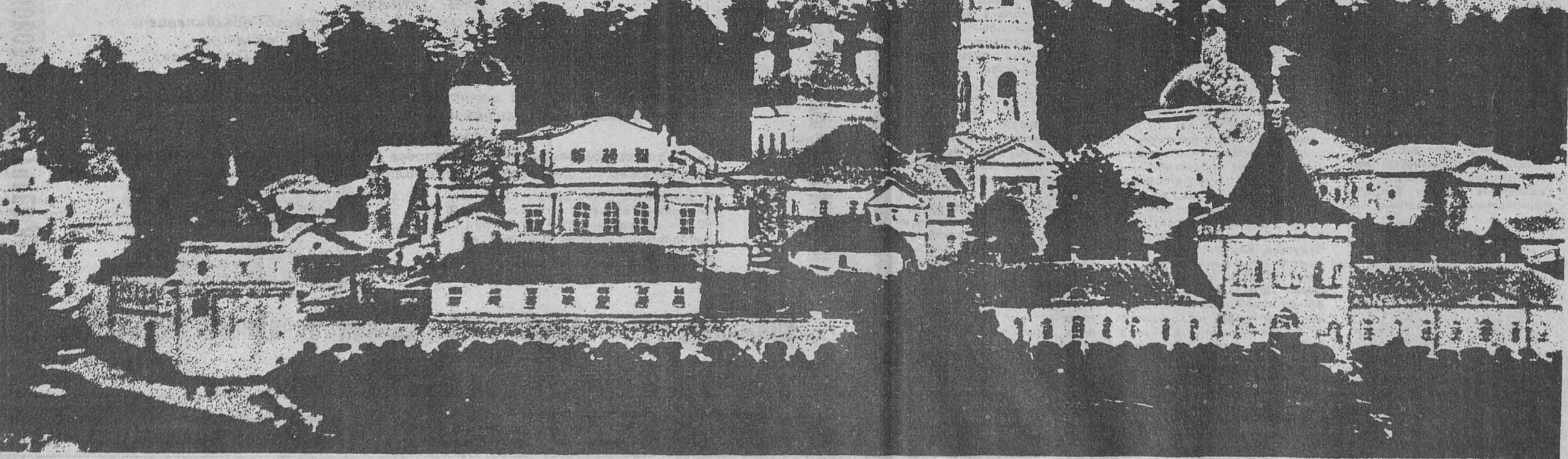
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ Гоголя были омрачены новыми разномыслиями с отцом Матвеем, требовавшим от своего ученика, чтобы тот оторвался от безбожия, Пушкина. А Гоголь хорошо знал, какой переворот произошел в мировоззрении великого русского поэта незадолго до его гибели. В глазах Гоголя Пушкин был не просто воплощением русского человека в полном его развитии, а посланцем из вечного мира красоты и гармонии на прешнюю землю.

Гоголь знает, что в Оптиной почитают и любят Пушкина, а монах Порфирий, некогда приветствовавший поэта артиллерийским салютом, с восторгом предается своим воспоминаниям.

И мысли писателя вновь и вновь обращаются к Оптиной, которую ему больше не суждено было увидеть.

Россия преждевременно лишила своего великого писателя, а его последнее гениальное творение в целостном виде так и не дошло до нас.

М. АНТОНОВ.



Н. В. Гоголь.
С автолитографии
А. Венецианова. 1834 г.

Оптинский старец
иеросхимонах о. Макарий.
С литографии из книги
Е. Н. Поселянина «Русские
подвижники XIX века» (СПб.,
1910).

Оптина Пустынь.
С фотооткрытки. 1900-е годы.

Иллюстрация любезно
предоставлена обществом
«Радонен».